

Глеб Иванович Успенский

Задача



Глеб Иванович Успенский

Задача

**Серия «Растеряевские
типы и сцены», книга 5**

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=664595*

Аннотация

«Чиновник Кыскин только что воротился с кладбища, где похоронил своего двухнедельного ребенка. Он в задумчивости ходил по темной комнатке, носившей неподходящее название зала, и, раздумывая о разных разностях, по временам подходил к окну, чтобы отереть слезу, так как о смерти ребенка ежеминутно напоминал запах ладана, оставшийся еще в комнате. Темный ли зимний вечер, или этот запах ладана, или, наконец, грустное настроение, следствие похоронной церемонии, взволновало его, только Кыскин раздумался о своей прошлой жизни: то вспоминал он сладкую минуту получения первого чина, то не менее сладкую минуту женитьбы, и затем эти отрадные минуты сразу замирали в воспоминаниях о тяжелых годах нужды и заботы. ...»

Глеб Иванович Успенский

Задача

(Из чиновничьего быта)

Чиновник Кыскин только что воротился с кладбища, где похоронил своего двухнедельного ребенка. Он в задумчивости ходил по темной комнатке, носившей неподходящее название зала, и, раздумывая о разных разностях, по временам подходил к окну, чтобы отереть слезу, так как о смерти ребенка ежеминутно напоминал запах ладана, оставшийся еще в комнате. Темный ли зимний вечер, или этот запах ладана, или, наконец, грустное настроение, следствие похоронной церемонии, взволновало его, только Кыскин раздумался о своей прошлой жизни: то вспоминал он сладкую минуту получения первого чина, то не менее сладкую минуту женитьбы, и затем эти отрадные минуты сразу замирали в воспоминаниях о тяжелых годах нужды и заботы. Главным образом душу его возмущала невозможность увеличить собственное семейство; крошечное жалованье, множество трат на семью, уже существующую в громадных размерах, ясно доказывали ему, что дальнейшее приращение семейства невозможно, иначе непроглядная нищета грозит и ему, и жене, и его детям. Все это весьма убивало Кыскина: он был еще молод, любил жену и семью, и вот теперь должен отказывать самым от-

радным и единственно не зависящим от служебных обязанностей движениям собственного сердца. Такие мысли уже давно залетали к нему в голову; несколько лет тому назад он уже начал поговаривать на крестинах того или другого из своих детей, что «это уж последний!» Но гости подмаргивали ему одним глазком и весьма сомневались в этом.

Кыскин делал новые уверения, давал новые заветы и заветы, а через год снова плелся отыскивать кума и куму. Сегодняшние похороны и особенно настоятельные заветы, данные им на крестинах третьего дня, сидели в Кыскине особенно упорно.

– Будет! Довольно! Слава богу, доволен! – говорил он, ходя по залу и отирая новую слезу. Крики ребят, бушевавших в отдаленной комнате, драки, происходившие между ними, и дерки, отпускаемые им в школах, где они оказывали весьма малые успехи, укрепляли еще более убеждение Кыскина в невозможности «продолжать далее»... Этому, кроме того, способствовала и самая смерть новорожденного ребенка: как ни жалел отец, но, подумав, нашел, что в смерти этой виден промысел божий: сам бог подумал о нем и прибрал новорожденного, видя, что ему в будущем грозит нищета.

– Нет, довольно! – вслух произнес Кыскин и старался утешить себя тем, что и лета его не позволяют далее продолжать супружеских обязанностей. Надо теперь, думал он, молиться поболее богу и просить его помощи, так как действительно только на него у бедного чиновника и оставалась надежда.

да. С этой целью сегодняшней день он всунул в могилу сына счет расходов на погребение, твердо веря, что двенадцать целковых, истраченные им по этому предмету и составляющие две трети месячного жалованья, обратят внимание неба на его усердие и любовь к детям, для которых он ничего не жалеет. Кроме того, и непорочная душа умершего младенца помолится за него, Кыскина, и за его жену и...

– Авось, как-нибудь! – заключил чиновник и, вздохнув, вышел в другую комнату, где сидела жена.

– Ты что это там говорил? – сказала ему жена и улыбнулась. – Ходит один да бурчит себе под нос что-то.

– Так! – ответил он, потирая бороду.

Улыбка жены произвела на него странное действие; в хлопотах о хозяйстве, среди постоянных забот и нужд, ему редко приходилось встречать ее на лице жены, и поэтому теперь сердце его сжалось, так как теперь улыбка эта уж не должна была его радовать. Кроме улыбки, его испугало еще другое обстоятельство: в этот вечер жена его была очень недурна; после болезни она похудела и сделалась лучше; на ней было все чистенькое, опрятное, и, в довершение всего, по плечам рассыпалась еще густая коса, которой завидовали многие чиновнические жены; кроме того, жена Кыскина была еще очень молода, ей было не более двадцати шести лет. Все это, при другой обстановке, в другом быту, никого не могло бы и не должно бы испугать, а вот Кыскин испугался!.. Он сделал над собой страшное усилие и проговорил:

– Знаешь что, Маша? Я теперь так думаю: довольны мы с тобой... от бога...

Кыскин смешался, стал потирать платком нос, но не мог не заметить, что спутанная речь его была понята женой: она покраснела и, расчесывая косу, повернула лицо к окну; она думала о том же, о чем и муж, и пришла к тем же убеждениям.

– Да! – продолжал Кыскин, – слава богу!.. Как ты думаешь?

– Так и думаю! – проговорила жена.

– Именно!.. И надо просить бога, чтобы он нам помог... Другое дело, ежели дадут прибавку! Ну тогда... Но при нашем обременении...

Оба супруга вздохнули...

– Что делать! – проговорил муж. – Да, кроме того, надобно нам и о душе подумать хоть безделицу...

– Разумеется! – добавила жена.

– Во-от!.. Вот это так! Надо нам вспомнить и душу нашу... Не все же земное и преходящее... Да к тому же, друг мой, в писании сказано: «Пецытеса убо о душе»... Следовательно... я буду в зале спать, а ты здесь...

– Я здесь...

– А я в зале...

Жена помолчала и потом произнесла:

– Гораздо лучше!

В ответ на это муж вздохнул. Чтобы как-нибудь заглушить

неприятное состояние духа, Кыскин решился повернуть разговор в другую сторону и сначала спросил: «который-то теперь час?», и узнав, что в остроге пробило давно девять часов, сделал другой вопрос: «не пора ли чего-нибудь закутить?» Затем последовал молчаливый ужин, перерываемый напряженными разговорами о разных разностях, преимущественно же о начальниках и сослуживцах. Разговоры эти решительно не клеились: муж и жена думали о другом и были скучны. Кыскин выпил несколько рюмок водки, но и это не развеселило его: напротив, он вздыхал все чаще и глубже, и если хмель сделал что-нибудь, то разве заставил Кыскина говорить громче и громче. После ужина явилась кухарка и принялась перестилать постель. Это обстоятельство снова сильнее прочих обстоятельств подобного рода встревожило Кыскина; глядя, как кухарка вскидывала и взбивала подушки, он содрогался при мысли, что лишен уже возможности разговаривать с женой о снах и видениях, неожиданно встревоживавших кого-нибудь из супругов по ночам и заставлявших в прежнее время обсудить это дело сообща; кроме того, самые невинные мелочи супружеской жизни сразу припомнились ему и заставили затосковать; но Кыскин перемогся еще раз и сказал кухарке:

– Ты, Акулина, постели мне постель в зале, на диване...

Акулина, накрывавшая перину одеялом, в изумлении повернула голову к чиновнику и пристально посмотрела и на него и на чиновницу.

– Да! – продолжал чиновник, опустив от смущения лицо вниз: – да, Акулинушка, в зале... Что делать!.. Слава богу!.. Надо подумать и о душе...

Эти три фразы, произнесенные безо всякого порядка, еще более придали Акулине любопытства.

– А сама-то? – спросила она в изумлении.

– Друг мой! – сказал охмелевший чиновник. – Она будет здесь! Ты ничего, ровно ничего не понимаешь!

Тут Кыскин остановился и, сообразив всю запутанность своего положения, вдруг произнес:

– Когда тебе говорят: стели в зале, следовательно, барыню ты не беспокой. Понимаешь?

Акулина замолчала и стала делать то, что ей приказывали. Но и она вздохнула.

Наконец в зале на диване была готова постель. Но Кыскин почему-то медлил идти туда. Он присел на сундук и вяло проговорил, обращаясь к жене:

– Так-то, Маша!.. Ну-ну, что делать! Видно, бог указывает нам окончание!

А когда жена, решившаяся сразу переменить образ жизни, сказала ему весьма решительно: «пора спать!» – Кыскин предложил ей поцеловаться, говоря: «В последний раз!.. ведь пойми!» Когда же супруга поцеловала его, Кыскин долго еще не мог оставить ее, потому что плакал и вытирал слезы. Плакала также и жена.

– Ну ступай, ступай! – проговорила она наконец, поспеш-

но отирая слезы.

– Маша! – произнес супруг.

– Пора! Двенадцатый час!.. Ступай! будет!

Наконец Кыскин должен был отправиться на новоселье.

Но и тут он не утерпел и остановился в дверях.

– Как ты думаешь, – сказал он, – затворять двери или так оставить – открытыми?

Решено было оставить «так».

Затем снова было предложено: не лучше ли будет, если диван поставить против дверей, так чтобы не было скучно и при случае можно было сказать слово?

Решено было диван передвинуть по желанию Кыскина. Наконец кое-как все уладилось.

Несколько минут продолжалось самое упорное молчание. Оба супруга, чувствуя себя в новом положении, не могли скоро уснуть; но, чтобы не подать друг другу подозрения в неудобстве новых помещений, старались притвориться спящими и оба молчали.

– Маша! – робко проговорил, наконец, муж.

– Гм?

– Ты спишь?

– Нет... не спится что-то...

– И мне, брат, что-то не спится...

– Новое место!

– То-то я думаю... Не от нового ли в самом деле это места?

– От нового. Спи!

Снова настало молчание. На этот раз оно продолжалось дольше прежнего, потому что в голове Кыскина мелькнула такая мысль: «Ну а что если дадут прибавку?» И поэтому он долго думал о разных разностях до тех пор, пока в спальне жены не раздался шопот:

– Иван Абрамыч!

– Я, матушка?

– Спишь?

– Нет, что-то, милая ты моя, не спится... Я так полагаю: не от нового ли это места?

– Это от нового. С непривычки!

– Должно быть, друг мой, что с непривычки...

– Который-то теперь час?

– Час-то? Да, пожалуй, час первый...

– Какая позднота! Пора спать. Спи! Пора!

Иван Абрамыч вздохнул, и молчание водворилось еще более продолжительное. Он чувал, что и жену его мучит та же тоска, какую испытывал и он. «Господи! – думал Кыскин, – ну не чудн_о_ ли? Что теперича я такое?.. Умер! совсем умер!.. Н-но... – вдруг мелькнуло у него в голове. – Ну а ежели господь пошлет прибавку?» Тут ему представилась картина, происходящая в его семействе по получении прибавки; в этой картине он прежде всего увидел, как все радуются. Решительно все: от двухлетнего ребенка до кухарки Акулины, – все счастливы, все довольны...

– А бог-то? – вдруг проговорил Кыскин.

– Чего ты? – послышалось из спальни...

– Нет, это я так!.. Что-то не спится!

– Спи! спи! – ворочаясь, говорила жена.

– Право, что-то все того... – поворачиваясь лицом к спине дивана, бормотал муж. – Блохи не блохи, а так что-то...

– Спи! там блох нет ни одной.

– Да то-то я думаю: откуда блохам быть? Так что-то.

– Никаких блох нету, а это от нового места.

– Должно быть, что от нового места. Как-то так всё...

– Спи!

Жена замолчала, а в голове Кыскина снова явился вопрос: «А бог-то?» И вслед за этим мысль его в одно мгновение перелетела чрез множество всевозможных затруднений, тяготивших на его семейной жизни и за несколько минут перед этим сознанных вполне, непреложных и очевидных для всякого. Что-то упорно побуждало его ни под каким видом не разрушать сложившуюся картину семейной жизни, влагало в него какую-то невероятную решимость отказать от куска хлеба для того, чтобы удержать за собою единственную сердечную привязанность вполне, без ограничений; и тут же мелькала перед ним картина безотрадного существования, если он переломит себя и захочет «подумать о душе»... «Господи! – шептал он, – Маша!..»

– Маша, ты спишь? – произнес он вдруг громко. Но жена не отвечала.

«Спит!» – подумал он.

А она долго еще не спала, долго еще думала, крепко прижавшись к подушке, то же самое, что и муж ее; но она яснее его смотрела на вещи и тверже решила заглушить в себе всякую мысль, как только мысль эта наталкивала ее на вопрос: «А бог-то?» Поэтому-то она и не отвечала мужу, когда тот назвал ее. Притворясь спящей, она слышала, как Иван Абрамович ворочался на диване, охал, шептал: «Господи! Господи!»

– Спишь? – опять послышалось из зала.

Она поспешно закуталась в одеяло с головой и не отвечала. Раскрыв глаза под одеялом, она упорно старалась не думать ни о чем. Как бы рада она была, если бы голова ее превратилась в камень! Долго продолжалось это напряженное состояние, наконец глаза ее начали слипаться, сон все больше и больше охватывал ее, и вдруг...

– Кто это? – в испуге вскрикнула она.

– Там в окошко дует... всю спину простудил... озяб! – бормотал Иван Абрамыч, держа в руках подушку...

* * *

Через несколько месяцев Иван Абрамыч сидел за ужином и думал – кого бы пригласить в кумовья? Физиономии его и жены были убиты, и сердца растерзаны: диван давно уже стоял на старом месте, а прибавки по-прежнему не дали...

По окончании ужина Иван Абрамыч вздохнул и сказал:

– Теперь, Маша, уж действительно надобно подумать нам!
Довольно! как ты думаешь?..

Жена молчала.

Примечания

Рассказ впервые напечатан в газете «Петербургский листок», 1867, № 25 от 14 февраля; без изменений перепечатан в сборнике «Очерки и рассказы», СПб., 1871 года; при переиздании его в «Сочинениях» Успенский сделал некоторые сокращения и стилистические исправления текста.

Успенский написал ряд рассказов, в которых изображаются «нужды и заботы» мелкого провинциального чиновника, живущего с многочисленным семейством на «крошечное жалованье»; в том же плане идут и страницы о семье Претерпеевых в «Нравах Растеряевой улицы». Здесь Успенский следует щедринскому «истинно гуманистическому направлению», которое отмечал Добролюбов в своей статье «Забитые люди», говоря: «Никто, кажется, исключая г. Щедрина, не вздумал взглянуть в душу этих чиновников – злодеев и взяточников – да посмотреть на те отношения, в каких проходит их жизнь».